

О Петербурге моего детства

Петербург-Ленинград — город трагической красоты, единственный в мире. Если этого не понимать — нельзя полюбить Петербург. Петропавловская крепость — символ трагедий, Зимний дворец на другом берегу — символ плененной красоты.

Петербург и Ленинград — это совсем разные города. Не во всем, конечно. Кое в чем они «смотрятся друг в друга». В Петербурге прозревался Ленинград, а в Ленинграде мелькал Петербург его архитектуры. Но сходства только подчеркивают различия.

Первые впечатления детства: барки, барки, барки. Барки заполняют Неву, рукава Невы, каналы. Барки с дровами, с кирпичом. Катали выгружают барки тачками. Быстро, быстро катят их по железным полосам, вкатывают снизу на берег. Во многих местах каналов решетки раскрыты, даже сняты. Кирпичи увозят сразу, а дрова лежат сложенными на набережных, откуда их грузят на телеги и развозят по домам. По городу расположены на каналах и на Невках дровяные биржи. Здесь в любое время года, а особенно осенью, когда это необходимо, можно купить дрова. Особенно березовые, жаркие. На Лебяжьей канавке у Летнего сада пристают большие лодки с глиняной посудой — горшками, тарелками, кружками, — а бывают и игрушки, особенно любимы глиняные свистульки. Иногда продают и деревянные ложки. Все это привозят из района Онеги. Лодки и барки чуть-чуть покачиваются. Нева течет, покачиваясь мачтами шхун, боками барж, яликами, перевозящими через Неву за копейку, и буксирами, кланяющимися мостам трубами (под мостом трубы полагалось наклонять к корме). Есть места, где качается целый строй, целый лес: это мачты шхун — у Крестовского моста на Большой Невке, у Тучкова моста на Малой Неве.

Есть что-то зыбкое в пространстве всего города. Зыбка поездка в пролетке или в извозчицких санках. Зыбки переезды через Неву на яликах (от Университета на противоположную сторону к Адмиралтейству). На булыжной мостовой потряхивает. При въезде на торцовую мостовую (а торцы были по «царскому» пути от Зимнего к Царскосельскому вокзалу, на Невском, обеих Морских, кусками у богатых особняков) потряхивание кончается, ехать гладко, пропадает шум мостовой.

Барки, ялики, шхуны, буксиры снуют по Неве. По каналам барки проталкивают шестами. Интересно наблюдать, как два здоровых молодца в лаптях (они упористее и, конечно, дешевле сапог) идут по широким бортам барки от носа к корме, упираясь плечом в шест с короткой перекладной для упора, и двигают целую махину груженной дровами или кирпичом барки, а потом идут от кормы к носу, волоча за собой шест по воде. И снова повторяют свою прогулку от носа до кормы.

Архитектура заслонена. Не видно реки и каналов. Не видно фасадов за вывесками. Казенные дома в основном темно-красного цвета. Стекла окон поблескивают среди красных дворцовых стен: окна мылись хорошо, и было много зеркальных окон и витрин, полопавшихся впоследствии во время осады Ленинграда. Темно-красный Зимний, темно-красный Генеральный штаб и здание Штаба гвардейских войск. Сенат и Синод красные. Сотни других домов красные — казарм, складов и различных «присутственных мест». Стены Литовского замка красные. Эта страшная пересыльная тюрьма — одного цвета с дворцом. Только Адмиралтейство не подчиняется, сохраняет самостоятельность — оно желтое с белым. Остальные дома также выкрашены добротной, но в темные тона.

Трамвайные провода боятся нарушить «право собственности»: они не крепятся к стенам домов, как сейчас, а опираются на трамвайные столбы, заслоняющие улицы. Что улицы! — Невский проспект. Его не видно из-за трамвайных столбов и вывесок. Среди вывесок можно найти и красивые, они карабкаются по этажам, достигают третьего — повсюду в центре: на Литейном, на Владимирском. Только площади не имеют вывесок, и от этого они еще огромнее и пустыннее. А в небольших улицах висят над тротуарами золотые булочные крендели, золотые головы быков, гигантские пенсне и пр. Редко, но висит сапог, ножницы. Все они огромные. Это тоже вывески. Тротуары перегорожены подъездами: козырьками, держащимися на металлических столбиках, опирающихся на противоположный от дома край тротуара. По краю тротуара нестройные ряды тумб. У очень многих старых зданий встречаются вместо тумб вкопанные старинные пушки. Тумбы и пушки оберегают прохожих от наезда телег и пролетов. Но все это мешает видеть улицу, как и керосиновые фонари единого образца с перекладной, к которой прислоняют фонарщики свои легкие лесенки, чтобы зажечь, потушить, снова зажечь, потушить, заправить, почистить.

В частые праздники — церковные и «царские» — вывешиваются трехцветные флаги. На Большой и Малой Морских трехцветные флаги свешиваются на перетянутых через улицы от дома к противоположному канатах.

Но зато какие красивые первые этажи главных улиц. Парадные двери содержатся в чистоте. Их полируют. У них красивые начищенные медные ручки (в Ленинграде их сняли в 20-е годы в порядке сбора меди для Волховстроя). Стекла всегда чистые. Тротуары чисто метут. Они украшены зелеными кадками или ведрами под водосточными трубами, чтобы дождевая вода меньше выплескивалась на тротуары. Дворники в белых передниках выливают из них воду на мостовую. Из парадных изредка появляются швейцары в синих с золотом ливреях — передохнуть свежим воздухом. Они не только в дворцовых подъездах — но и в подъездах многих доходных домов. Витрины магазинов сверкают чистотой и очень интересны — особенно для детей. Дети оттягивают ведущих их за руки мам и требуют посмотреть в игрушечных магазинах оловянных солдатиков, паровозики с прицепленными вагончиками, бегущие по рельсам. Особенно интересен магазин Дойникова в Гостином дворе на Невском, славящийся большим выбором солдатиков. В окнах аптек выставлены декоративные стеклянные вазы, наполненные цветными жидкостями: зелеными, синими, желтыми, красными. По вечерам за ними зажигают лампы. Аптеки видны издалека.

Особенно много дорогих магазинов по солнечной стороне Невского («солнечная сторона» — это почти официальное название четных домов Невского). Запомнились витрины магазина с поддельными бриллиантами — Тэта. Посередине витрины устройство с вечно крутящимися лампочками: «бриллианты» сверкают, переливаются.

Асфальт — это теперь, а раньше — тротуары из известняка, а мостовые булыжные. Известняковые плиты добывались с большим трудом, но зато выглядели красиво. Еще красивее огромные гранитные плиты на Невском. Они остались на Аничковом мосту. Многие гранитные плиты перенесены сейчас к Исаакию. На окраинах бывали тротуары из досок. Вне Петербурга, в провинции, под такими деревянными тротуарами скрывались канавы, и, если доски изнашивались, можно было угодить в канаву, но в Петербурге даже на окраинах тротуары с канавами не делались. Мостовые по большей части были булыжные, их надо было держать в порядке. Летом приезжали крестьяне подрабатывать починкой булыжных мостовых и сооружением новых. Надо было подготовить грунт из песка, утрамбовать его вручную, а потом вколачивать тяжелыми молотками каждый булыжник. Мостовщики работали сидя и обматывали себе ноги и левую руку тряпками, случайно можно было попасть себе молотком по пальцам или по ногам. Смотреть на этих

рабочих без жалости было невозможно. А ведь как красиво подбирали они булыжник к булыжнику, плоской стороной сверху. Это была работа на совесть, работа художников в своем деле. В Петербурге булыжные мостовые были особенно красивы: из разноцветных обкатанных гранитных камней. Особенно нравились мне булыжники после дождя или поливки. О торцовых мостовых писалось много — в них также была своя красота и удобство. Но в наводнение 1924 года они погубили многих: всплыли и потащили за собой прохожих.

Цвет конок и трамваев легко забудется. Цветной фотографии еще не было, а на картинах они не так часто изображались: поди ищи! Конки были довольно мрачные по цвету: темно-сине-серые с серыми деталями. А трамваи очень оживляли город: они были покрашены в красный и желтый цвет, и краски были всегда яркие и свежие.

Сперва трамваи ходили по одному, прицепных не было. Оба конца не различались, и на обоих было поставлено управление. Доехав до конечной станции, кондуктор сходил с передней площадки, снимал снаружи большой белый круг, означавший перед, и переносил его назад; там ставил. Во время первой мировой войны понадобились прицепные вагоны: население увеличилось. Вагоны конки переделывались: снимались империалы и перекрашивались в желтый и красный цвет, и их прицепляли к моторным вагонам, вскоре исчезли и белые круги для обозначения передней части: перед был виден и так. Но ехать в прицепном вагоне было неприятно: в нем трясло, скорость для них была необычной, и плохо закрепленные стекла отчаянно дребезжали.

Кстати, площадки трамваев были открытыми: летом ехать — удовольствие, зимой — холодно. Но все военные и революционные годы пассажиры набивались в вагоны, висели на ступеньках, держась за поручни, висели на «колбасе» и иногда разбивались о трамвайные столбы.

Звуки Петербурга! Конечно, в первую очередь вспоминаешь цоканье копыт по булыжной мостовой. Ведь и Пушкин писал о громе Медного Всадника «по потрясенной мостовой». Но цоканье извозчичьих лошадей было кокетливо-нежным. Этому цоканью мастерски умели подражать мальчишки, играя в лошадки и щелкая языком. Игра в лошадки была любимой игрой детей. Цоканье копыт и сейчас передают кинематографисты, но вряд ли они знают, что звуки цоканья были различными в дождь и в сухую погоду. Помню, как с дачи, из Куоккалы, мы возвращались осенью в город и площадь перед Финляндским вокзалом была наполнена этим «мокрым цоканьем» — дождевым. А потом — мягкий, еле слышный звук катящихся колес по торцам и глуховатый «вкусный» топот копыт по ним же — там, за Литейным мостом. И еще покрякивание извозчиков на переходящих улицу: «Э-эп!». Редко кричали «берегись» (отсюда — «брысь»): только когда лихач «с форсом» обгонял извозчичью пролетку. Ломовые, размахивая концом вожжей, угрожали лошадям (погоняли их) с каким-то всасывающим звуком. Кричали газетчики, выкликали названия газет, а во время первой мировой войны и что-нибудь из последних новостей. Приглашающие купить выкрики («пирожки», «яблоки», «папирасы») появились только в период нэпа.

На Неве гудели пароходы, но характерных для Волги криков в рупоры в Петербурге не было: очевидно, было запрещено. По Фонтанке ходили маленькие пароходики Финляндского пароходного общества с открытыми машинами. Виден был кочегар. Тут и свист, и шипение пара, и команды капитана.

Одним из самых «типичных» уличных звуков Петербурга перед первой мировой войной было треньканье трамваев. Я различал четыре трамвайных звонка. Первый звонок — перед тем как трамваю тронуться. Кондуктор (до войны — всегда мужчина в форме) на

остановках выходил с задней площадки, пропускал всех садящихся вперед, сам садился последним и, когда становился на ступеньку вагона, дергал за веревку, которая шла от входа к звонку у вагоновожатого. Получив такой сигнал, вагоновожатый трогал вагон. Эта веревка шла вдоль всего вагона по металлической палке, к которой были прикреплены кожаные петли, за них могли держаться стоящие в трамвае. В любом месте трамвая кондуктор мог позвонить вагоновожатому. И это был второй тип звонка. Вагоновожатый предупреждал неосторожных прохожих с помощью еще одного звонка, действовавшего от ножной педали. Здесь вагоновожатый звонил иногда довольно настойчиво, и звук этот часто слышался на улицах с трамвайными линиями. Потом появились и электрические звонки. Довольно долго ножные педальные звонки действовали одновременно с ручными электрическими. Грудь кондуктора была украшена многими рулонами с разноцветными билетами. Билеты разных цветов продавались по «станциям» — на участки пути, и, кроме того, были белые пересадочные билеты, с которыми можно было пересечь в определенных местах на другой маршрут. Все эти маршруты указаны в старых путеводителях по Петербургу. Время от времени, когда кончался тот или иной отрезок пути и надо было брать новый билет, кондуктор громко возглашал на весь вагон: «Желтым билетам станция!», или «Зеленым билетам станция!», или «Красным билетам станция!». Интонации этих «возглашений» запомнились мне на всю жизнь: в школу я ездил на трамваях.

Очень часто были слышны на улицах звуки военных оркестров. То полк шел по праздникам и воскресным дням в церковь, то хоронили генерала; ежедневно шли на развод караула к Зимнему преображенцы или семеновцы. На звуки оркестра сбегались все мальчишки: потребность в музыке была большая. Особенно интересно было, когда выделенные для похорон войсковые подразделения возвращались с кладбища: тогда полагалось играть веселую музыку. С веселыми маршами шли и в церкви, но, разумеется, не в Великий пост. Были и «тихие звуки»: звенели шпоры военных. За звоном своих шпор офицеры следили. Шпоры часто делались серебряными. На Невском и на прилегающих улицах (особенно у Гостиного на углу Невского и Садовой) торговцы продавали детям надутые легким газом взлетающие шарики; красные, зеленые, синие, желтые и самые большие — белые с нарисованными на них петухами. Около этих продавцов всегда царил оживление. Продавцов было издали видно по клубившимся над их головой связкам веселых шариков.

В моем детстве на улицах уже не продавали сбитень, но отец помнил и любил рассказывать о сбитне. Он хорошо подкреплял прохожих, особенно в мороз. Сбитенщик закутывал самовар в особый ватник, чтобы не остыл, и носил его на спине, а кран открывал из-под левого локтя. Сбитень — это смесь кипятка с медом и разными специями, чаще всего с корицей. По словам отца, сбитенщики в старину кричали: «Сбитню горячего!» Я запомнил со слов отца: не «сбитня», а именно «сбитню».

А по утрам с окраин города, особенно с Выборгской стороны, доносились фабричные гудки. Каждый завод можно было узнать по гудку. Гудели три раза, созывая на работу, — не у всех дома были часы. Эти гудки были тревожными, призывными...

Зимой — самые элегантные сани с вороными конями под темной сеткой, чтобы при быстрой езде в седоков не летели комья снега из-под копыт. Простые извозчичьи сани были тоже красивыми.

Как ребенка, меня всегда тянуло заглянуть за фасады домов: что там? Но об этом я больше узнавал из рассказов взрослых. Магазины, впрочем, помню — те, в которые заходил с матерью: «колониальные товары» (кофе, чай, корица, еще что-то), «бакалея», «суровский магазин» (ткани, нитки), «булочные», «кондитерские», «писчебумажные». Слова

«продукты» в нынешнем значении не было («продукты» — только продукция чего-то; «продукты сельского хозяйства» стали говорить на моей памяти). На рынок ходили за «провизией». Продавцы назывались приказчиками. Помню дисциплину этих приказчиков в магазине «Масло». Стояли они на шаг назад от прилавка, заложив руки за спину. При появлении покупателя приказчик делал шаг ему навстречу и опускал руки. Это невольно заставляло покупателя к нему подойти. Масло и сыр давали пробовать на кончике длинного ножа.

Первые кинематографы. Совсем забыли, что на узкой Офицерской против нашего дома был кинематограф «Мираж». Он был сделан из нескольких магазинов, соединенных вместе. Но по субботам мы всей семьей ездили на Невский в кинематограф «Солейль». Он помещался в том же доме, что и «Пассаж», — около Садовой. Этот кинематограф был сделан из нескольких квартир, соединенных вместе. Кроме основной картины (помню «Сто дней Наполеона», «Гибель „Титаника"» — это документальный фильм, оператор снимал всю пароходную жизнь и продолжал снимать кораблекрушение до того момента, когда погас свет, а потом снимал даже в спасательной лодке) обязательно давалась комическая (с участием Макса Линдера, Мациста и др.) и «видовая». Последняя раскрашивалась часто от руки — каждый кадр, и непременно в яркие цвета: красный, зеленый — для зелени, синий — для неба. Однажды были на Невском в «Паризиане» или «Пикадилли» — не помню. Поразили камердинеры в ливреях и чуть ли не в париках.

Родители часто брали меня с собой в Мариинский театр. У родителей было два балетных абонеента в ложу третьего яруса. Спектакли были праздниками. На праздничность они и были рассчитаны. Снобы офицеры в антрактах красовались у барьера оркестра, а после спектакля офицеры стояли у артистического выхода перед подъездом, рассматривая дам.

На Страстной и к пасхальной заутрене ходили на Почтамтскую улицу в домовую церковь Главного управления почт и телеграфов, где служил отец столоничником. Пальто снимали в гардеробе, поднимались на второй этаж. Паркетные полы в церкви были хорошо натерты. Электричество спрятано за карнизы. Лампады горели электрические, и это некоторые ортодоксально настроенные прихожане осуждали. Но отец гордился этим нововведением — это была его инициатива. Когда входила семья (наша или другая), служитель сразу нес венские стулья и ставил позади, чтобы в дозволенных для того местах службы можно было присесть отдохнуть. Позже я узнал, что в ту же церковь ходила и семья Набоковых. Значит, мы встречались с Владимиром. Но он был старше меня.

Неравенство жителей Петербурга бросалось в глаза. Когда возводились дома, строители носили кирпичи на спине, быстро поднимаясь по доскам лесов с набитыми на доски планками вместо ступеней. По черным лестницам доходных домов дворники носили дрова тоже на спине, ловко забирая дрова со специальных козел, стоявших во дворе. Во двор приходили старьевщики-татары; кричали «халат-халат!». Заходили шарманщики, и однажды я видел «петрушку», удивляясь ненатуральному голосу самого Петрушки (петрушечник вставлял себе в рот пищик, изменявший его голос). Ширма у петрушечника поднималась от пояса и закрывала его со всех сторон: он как бы отсутствовал.

Ходили мы смотреть столетних гренадер из Золотой роты у памятника Николаю I. Это были солдаты, служившие еще Николаю I. Их, оставшихся, собирали со всей России и привозили в Петербург. Ходили мы и на разводы караула к Зимнему. Вся церемония происходила во дворе на специальной платформе, мы ее не видели. Но на развод семеновцы и преображенцы шли с музыкой, игравшей бравурные марши — оглушительно под аркой Генерального штаба, отзывавшейся эхом.

Петербург был городом не только трагической, но и скрытой (во дворцах и за вывесками) красоты. Зимний — сплошь темный ночами (государь с семьей жил в Александровском дворце в Царском Селе). Веселое рококо дворца теряло свою кокетливость, было тяжелым и мрачным. Напротив дворца утопала во тьме крепость-тюрьма. Взметнувшийся шпиль собора — и меч и флюгер одновременно — кому-то угрожал.

Вьющиеся среди регулярно распланированных улиц каналы нарушали государственный порядок города. В Александровском саду против Адмиралтейства существовали разные развлечения для детей (зимой катания на оленях, летом — зверинец и пруды с золотыми рыбками) среди дворцов, словно под присмотром бонн и гувернанток. Марсово поле пылило в глаза при малейшем ветре, а Михайловский замок словно прищурился одним среди многих единственным замурованным окном комнаты, где был задушен император Павел.

О старом Петербурге вспоминает В. Вейдле в книге «Зимнее солнце». Дом, принадлежавший Вейдле, находился на Большой Морской около арки Генерального штаба. Если идти по левой стороне от арки Генерального штаба, то первый дом № 6 — гостиница «Франция» с рестораном «Малый Ярославец», а дальше французская булочная с круассанами и шоссонами — такими же, как в Париже. Французские булки из Испании — там они тоже назывались «французскими», но во Франции не пеклись. Затем ювелир Болин со швейцаром. На углу табачная лавочка. Тут же посыльные в красных фуражках. Напротив дом мебельной фабрики Тонет — фабрика венских стульев, легких и удобных.

Перейдя Невский — закусовая Смурова. В бельэтаже — Английский магазин, где продавалось английское темно-бурое глицериновое мыло. На Невском напротив — «Цветы из Ниццы», даже зимой. Наискось от сигар — «Дациаро: поставщик всего нужного для художеств». Над ним — «Генрих Циммерман» (для музыкантов). Посредине, возле окон второго этажа над улицей на чугунном укрепе «Павел Буре» — часы, показывавшие точное время.

Далее по Большой Морской — ресторан Кюба с тяжелыми кремовыми гардинами. Это, по воспоминаниям Юлии Николаевны Данзас, единственный ресторан такого хорошего тона, что туда можно было пойти приличной даме без сопровождения кавалера. Затем магазин Мюллера — лучших сундуков и саквояжей. В 1916 году драгоценности Эрмитажа решили эвакуировать в чемоданах этой фирмы. Хранитель — барон Фелькерзам.

На гранитной облицовке по Большой Морской было золотыми буквами начертано «Faberge». Напротив — важный портной Калина. Далее Большая Морская встречалась с Мойкой Реформатской киркой (перестроена ныне в Дом связи).

М. Добужинский пишет в своих «Воспоминаниях», что его жена «была одета с «петербургским» вкусом в темно-синее, носила маленькую изящную шляпку с вуалькой в черных мушках и белые перчатки». «Часто на улицах я видел, — продолжает Добужинский, — как она обращает на себя внимание, выделяясь среди старомодных немок, как „иностранка"». О петербургских элегантных дамах пишет и Вадим Андреев в своих воспоминаниях «Отец». Рассказывал мне о них с восхищением и известный библиограф А. Г. Фомин. Он особенно подчеркивал изящество походки. Когда я был в Белграде в 1964 году, профессор Радован Лалич указал мне на одну пожилую даму: «Сразу видна русская из Петербурга». Почему «сразу»? Держалась очень прямо и имела прекрасную легкую походку.

Ночная жизнь была типична для петербургской интеллигенции: петербургский «noctambulisme» («лунализм»). «Монд» ложился не ранее трех часов ночи. Редко

поднимались раньше 11 утра. Процветали ночные кабачки, и «Бродячая собака» в особенности. Здесь было «le rendezvous des distingues» («встреча избранных»).

Годы 1917—1950-е запомнились мне своими темными и скучными красками. Дома если и красились, то уже в один цвет, орнамент не выделялся цветом, да и не чинился. Не стало красивых форм у военных. Люди ходили оборванные и во всем старом, хотя бы и имели новое, но новое было носить опасно — как бы не приняли за «буржуев». По этой же причине не носили белых воротничков, а по большей части надевали в годы первой мировой и гражданской подобие френчей, сшитых иногда из самой «невоенной» материи, а еще чаще перешитых из старых пиджаков, сюртуков, визиток и прочей «буржуйской» одежды. Во время первой мировой войны носили бекешки. Помню Шаляпина, садившегося в трамвай на Введенской — угол Большого проспекта Петроградской стороны; и то я запомнил его не потому, что впервые увидел «знаменитость», а потому, что бекеша Шаляпина была необычного цвета — синяя.

Когда в тридцатых годах мне рассказали, что за границей легковые автомобили имеют разные цвета и можно встретить даже красные, желтые, голубые, я как-то не мог себе это представить — настолько я привык ко всему черному в автомобильном хозяйстве.

Когда перед самым арестом я заказал себе костюм за сорок рублей (а это были в 1927 г. большие деньги, заработанные мною на подборке книг для Фонетического института иностранных языков, которым ведал тогда в частном порядке Семен Карлович Боянус — мой учитель английской фонетики), то передо мной был выбор — только черный или темно-синий. И я заказал себе темно-синий, оказавшийся по получении его просто черным. Я так его ни разу и не надел. Носил его мой брат Юра. По возвращении же из лагеря родители купили мне грубошерстный черный костюм, в котором я проходил до окончания войны.

Темно-коричневая толстовка, остальное все черное, поношенное, с темными рубашками. И бритвы у меня не было, а стриг я бороду сохранившейся с дореволюционных времен машинкой под два нуля... Таковы были цвета трех десятилетий нашей советской жизни.

Погода в Петербурге менялась очень часто и всегда сопровождалась каким-то особым настроением. Зимой то тихо падает снег, то завивается или бурно мчится, то мокрыми хлопьями, то сухой крупой, то сечет лицо холодом, то нежно его остужает.

Летом духота и жара делают человека слабым и безразличным — прохожие приостанавливаются, стоят без видимой цели и заботы. Лошади падают от солнечных ударов. Собирается гроза, и гром гулко сотрясает железные крыши домов. Нева меняет окраску: из спокойно текущей ощеривается темной рябью.

Никогда не бывает город так гордо красив, как весной, особенно когда цветет наполняющая его сады и парки сирень, когда-то в Петербурге столь обильная и пышно богатая.

Ранней осенью в безветренные солнечные дни воздух прозрачен, и на Неве видна каждая деталь, а под вечер дома и дворцы на Неве кажутся аппликациями, вырезанными из бумаги и наклеенными на синий картон неба.

Погода постоянно обращена к человеку. Она о нем помнит, создает ему настроение. Петербург кажется гигантской театральной сценой, «постановочным пространством» для самых больших исторических трагедий, а иногда и комедийных импровизаций.

Все это я пишу, осмысливая свои детские впечатления, в которых перемены погоды занимают особое место, ибо родители бдительно следят за тем, как я одеваюсь, выходя на улицу.

То нужен башлык, и башлык можно повязать по-разному — стоячком или просто за спину, а то и обмотать вокруг шапки и шеи. Иногда галоши надо сменить на ботинки, надеть гамашки или теплые чулочки. Все зависит от погоды. Петербург живет погодой больше, чем любой другой город России. Выходишь в одну погоду, а возвращаешься в другую.

Изменилась ли погода в Петербурге со времен моего детства? Что называть погодой? Если в погоду включать снег и его поведение на мостовой, тротуарах, крышах, то изменилась. Если в погоду включать дым из множества труб, когда-то поднимавшийся вертикально в низкое осеннее небо (и наоборот, в очень высокое зимой) или гонимый ветром над крышами, то этих эффектов погоды сейчас уже нет. Не топятся в городе тысячи кафельных печей и больших кухонных плит, не разжигаются самовары, меньше дымят трубы заводов, и нет паровых дымов. Другим стал запах уличного воздуха, даже его ощущение лицом. Десятки тысяч лошадей, обдававших прохожих своим теплом, как это ни странно, делали воздух города менее «официальным». Я не оговорился: именно «менее официальным», менее безразличным к человеку.

В «Поэме без героя» Ахматовой удивительно передана маскарадная атмосфера Петербурга, в немалой степени зависевшая от погоды города, таинственной в своих изменениях и тончайших нюансах.